## Алеша Бесконвойный

Автор: *Шукшин В.М.*

Его звали-то не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того -- старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником -- кочегарил на ферме, случалось -- ночное дело -- принимал, телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался, Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша "сроду такой" -- в субботу и воскресенье не работает- Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай -- как об стенку горох. Хлопает глазами... "Ну, понял, Алеша?" -- спросят. "Чего?" -- "Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?" -- "Чего?" -- "Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?" -- "Нет. Между прочим, насчет дурачка -- я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе -- в лоб: считается -- взаимность". Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром... Но все равно это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор -- колоть дрова.

У него была своя наука -- как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная -- зябко было, сыро, ветрено -- конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик -- постукало мягко, дробно в стекла окон и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело -- ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал -- снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

-- Ишь ты... какой, -- говорил он ласково чурбаку. -- Атаман какой... -- Ставил этого "атамана" на широкий пень и тюкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них -- свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки, Еще потом будет момент -- разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

-- Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

-- И не плескает ведь!

-- Да куда так несется-то?

-- Ну, баню опять топит...

-- Да рано же еще!

-- Вот весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую от купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню, И хорошо! Она стояла на полке, с краю, места много не занимала -- не мешала париться, -- а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута -- посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане -- продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески... Это все на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев -- тонким, еле уловимым -- это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да и подмоет радость -- подумает: "Сча-ас". Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене -- мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить, Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться, Напарится не напарится -- угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой, и думает, это баня, Хэх!..

Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два -- так, одно -- так, поперек, а потом сверху. Но там -- в той амбразуре-то, которая образуется-то, -- там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать, -- там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он еще посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал -- загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент -- когда разгорается, Ах, славный момент!

Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: "Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!" Или еще он сделал открытие: человек, помирая, в конце в самом, -- так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить. Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом. Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь -- Алеша слышал -- то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал, что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет -- никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала. Когда пили чай, поговорили с женой.

-- Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет, -- сказала жена.

-- И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то, на сырую землю.

-- Затопил?

-- Затопил.

-- Кузьмовна заходила... Денег занять.

-- Ну? Дала?

-- Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

-- Ну и ладно. -- Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег -- все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: "Бесконвойный, Бесконвойный". Глупые. -- Сколько попросила-то?

-- Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

-- Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать -- не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! "Что мне, душу свою на куски порезать?!" -- кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: "Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!" Дура жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула: "Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?" Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь, Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: "Смотри... а то не в роду ли это у их". И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню. А баня вовсю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть: чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно -- огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное -- без слов, голосом, Алеша слазал на полок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап -- поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал -- надо долить. Есть, но... чтоб уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег в займы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел -- тошно. И удивительно на людей -- сидят смотрят! Никто бы не поверил, но Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно -- ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел -- высоко-высоко -- и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине -- маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь, что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие -- ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, -- вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя -- через всю почти страну. Но ехали звонко -- так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

-- Слушай, солдат, возьми меня -- вроде я твоя сестра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами... Одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит -- вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит смотрит странно... У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:

-- Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

-- А кто дома-то? -- разлепил рот Алеша.

-- Да никого, одна я.

-- Ну, так я провожу, -- сказал Алеша.

-- А как же ты? -- удивилась и обрадовалась женщина.

-- Завтра другим эшелоном поеду... Мало их!

-- Да, их тут каждый день едет... -- согласилась она.

И они пошли к ней домой, Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила -- радость не радость -- жар, и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука -- мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша -- маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама -- просто, доверчиво -- взяла его под руку и пошла потом, прикасаясь боком своим мяконьким к нему... И тепло это -- под рукой ее -- помнил же. Да... Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то -- спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдели сапоги -- все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе. Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал. Алеша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как. Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек... Вот он -- угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут -- стены, полок, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап -- такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, -- славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню -- нет, угарно. Алеша пошел в дом.

-- Давай бельишко, -- сказал жене, стараясь скрыть свою радость -- она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алеши, Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность, Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж -- как пошли детишки.

-- Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? -- спросил Алеша.

-- Не знаю. Да кончились -- от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

-- Много они картошки-то сдали?

-- Воза два отвезли... Кулей двадцать.

-- Огребут деньжат!

-- Огребут, Все колют... Думаешь, у них на книжке нету?

-- Как так нету! У Соловьевых да нету!

-- Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

-- Давай бумажные, пока еще не так нижет.

-- На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас, в бане.

-- Так... Ну ладно.

-- У Кольки ангина опять.

-- Зачем же в школу отпустила?

-- Ну... -- Таисья сама не знала, зачем отпустила. -- Чего будет пропускать. И так-то учится через пень колоду.

-- Да... -- Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, -- не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль.

И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них -- возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков -- вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей -- агрономов, учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

-- Так... Ну ладно, -- сказал Алеша. -- Пойду.

И Алеша пошел в баню. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет. Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя -- ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло -- в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэх... Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,

Хабибу догоню!.. --

пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок -- для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: "Вы не понимаете, что такое баня!" Они понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь -- вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая -- до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра... -- стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность -- жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша -- от полноты и покоя -- попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу --

Нет моего милого, --

спел Алеша, зачерпнул еще воды.

Кучерявый чуб большой,

Как у Ворошилова.

И еще зачерпнул, еще спел:

Истопила мама баню,

Посылает париться.

Мне, мамаша, не до бани --

Миленький венчается.

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник -- распаривать. Стал мыться... Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе:

Я сама иду дорогой,

Моя дума -- стороной.

Рано, милый, похвалился,

Что я буду за тобой.

И точно плывет он по речке -- плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо -- сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полке -- просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться -- подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой, И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,

Хабибу до-го-ню!

Ну ее к черту! Придет-придет, чей раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть -- не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет -- придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле -- это вообще не праздник, не надо его и понимать как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и "не суетиться перед клиентом". Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: "Главное, не суетиться перед клиентом". Долго Алеша смеялся и думал: "Верно, суетимся много перед клиентом". Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом -- чего же? Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота -- это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает; плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он -- любит. Стал стучаться покой в душе -- стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку -- первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полок. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо -- сперва почесать себя -- походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул на каменку еще полковша, подержал веник под каменкой, над паром, и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице... Спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

-- С легким паром! -- сказал Борис.

-- Ничего, -- ответил Алеша, глядя перед собой. -- Иди в баню-то.

-- Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, -- стал как-то переживать, что отец его скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец пастух... Эх, милый! Ну, давай, давай целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

-- Иди в баню-то, -- сказал Алеша.

-- Жарко там?

-- Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу, в Коростылевых. Он пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком -- достать белье сыну.

-- Помнишь, -- сказал Алеша, -- Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

Белая березка

Стоит под дождем,

Зеленый лопух ее накроет,

Будет там березке тепло и хорошо.

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

-- Ну и что? -- спросила она.

-- Что?

-- Стишок-то сочинила... К чему ты?

-- Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

-- Боровишку-то загнать надо да дать ему -- я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

-- Ладно,

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.